

ЮРГЕН ХАБЕРМАС

Что означает низвержение памятника?

Не надо закрывать глаза на революцию
в мировом порядке: нормативный
авторитет Америки лежит в руинах

Весь мир наблюдал за этой сценой 9 апреля в Багдаде, следя за тем, как американские солдаты набрасывают петлю на шею диктатору и при ликованиях толпы весьма символическим образом низвергают его с пьедестала. Кажущийся несокрушимым монумент сначала качается, а затем падает. Но перед этим освобождающим падением проходит еще одна ужасная секунда, когда сила тяжести преодолевает гротескно-неестественное горизонтальное положение, в котором массивная фигура, немного покачиваясь вверх и вниз, все еще пытается удержаться.

Подобно тому как созерцание картинки-загадки дает «опрокинутое» изображение, так же, по-видимому, и эта сцена переворачивает образ войны в глазах общественности. Морально непристойный факт — сеющие ужас («шок и трепет») бомбардировки беззащитного и измученного населения — в этот день воспринимается в шиитском квартале Багдада как акт освобождения граждан от террора и угнетения. Каждый из этих двух способов видения содержит в себе момент истины, хотя они и вызывают противоречивые моральные чувства и оценки. Должна ли амбивалентность чувств вести к противоречивости суждений?

На первый взгляд все просто. Незаконная война остается актом, противоречащим международному праву, даже тогда, когда она ведет к желательным с нормативной точки зрения результатам. Однако разве этим дело исчерпывается? Дурные последствия могут делегитимировать благое намерение. А не могут ли благие последствия задним числом легитимировать определенные действия? Массовые захоронения, подземные темницы, рассказы людей, прошедших через пытки, — все это не оставляет никакого сомнения в криминальном характере низвергнутого режима; а разве освобождение населения, страдающего от варварского режима, не есть огромное благо, выс-

шее среди благ, могущих быть целью политических устремлений? В этом ключе о моральной природе этой войны так или иначе выносятся суждения и сами иракцы, независимо от того, ликуют они, мародерствуют, пребывают в апатии или устраивают демонстрации против оккупантов.

В нашей политической общественности обозначились две реакции. Прагматики верят в нормативную силу фактического и полагаются на практическую способность суждения, которая, на глазок определяя политические границы морали, отдает должное плодам победы. С их точки зрения рассуждения об оправданности войны бесплодны, коль скоро она уже стала свершившимся историческим фактом. Другие же, из оппортунизма или по убеждению капитулируя перед силой фактического, отодвигают в сторону то, что они считают международно-правовым догматизмом, приводя следующий аргумент: он (этот догматизм) из чисто пост-героической чувствительности и щепетильности в отношении факторов риска и издержек применения военной силы закрывает глаза на такую подлинную ценность, как политическая свобода.

Обе эти реакции слишком поверхностны, так как в них доминирует аффект, направленный против мнимых абстракций «бескровного морализма», причем здесь игнорируется та альтернатива международно-правовой доместикации государственного насилия, которую предлагают вашингтонские неоконсерваторы. Эти последние противопоставляют морали международного права не реализм и не пафос свободы, а определенное революционное видение: когда режим международного права демонстрирует свое бессилие, то политически успешное гегемониальное претворение в действительность либерального миропорядка является морально оправданным даже в том случае, если здесь используются средства, противоречащие международно-правовым нормам. Вулфовиц — это не Киссинджер. Он скорее революционер, нежели циничный апологет насилия. Разумеется, сверхдержава оставляет за собой преимущественное право действовать в одностороннем порядке и в случае необходимости даже превентивно использовать все имеющиеся военные средства для защиты своего статуса гегемона от возможных соперников. Однако для новых идеологов реализация глобальных властных амбиций вовсе не самоцель. Отличие неоконсерваторов от школы «реалистов» определяется их концепцией американской политики мирового порядка, которая отнюдь не укладывается в реформистскую колею политики защиты прав человека, проводимой Организацией Объединенных Наций. Эта концепция не отрицает либеральных целей, однако она взрывает те цивилизующие рамки, которыми Устав ООН не без оснований ограничивает выбор способов реализации этих целей.

Разумеется, международная организация сегодня еще не способна заставить те входящие в ее состав страны, политика которых отклоняется от ее принципов, гарантировать их гражданам демократию и порядок правового государства. И весьма селективно проводимая политика защиты прав человека ограничена пределами возможного: Россия, обладая правом вето, может не опасаться вооруженной интервенции в Чечню. Применение Саддамом Хусейном нервно-паралитических отравляющих веществ против собственного курдского населения — лишь один из многочисленных случаев,

представленных в скандальной хронике беспомощности сообщества государств, порой закрывающего глаза даже на факты геноцида. Поэтому тем более важной оказывается центральная функция Организации Объединенных Наций, являющаяся основой самого ее существования: гарантировать сохранение мира, а значит – обеспечивать действенность запрета на наступательные войны: запрета, которым после Второй мировой войны должен был быть положен конец практике установления права через войну (*jus ad bellum*), что в известном смысле предполагает ограничение суверенитета отдельных государств.

Тем самым классическое международное право продвинулось по крайней мере на один, но притом решающий, шаг на пути к космополитическому правовому состоянию. Соединенные Штаты, около полувека считавшиеся лидером этого движения, военной акцией в Ираке не только разрушили этот свой имидж и перестали играть роль державы, гарантирующей действенность международного права; их противоречащие международному праву действия дают будущим сверхдержавам пример, чреватый самыми губительными последствиями. Не будем питать иллюзий: нормативный авторитет Америки лежит в руинах.

Не было соблюдено ни одно из двух условий международно-правовой обоснованности применения военной силы: отсутствовала ситуация, при которой могла бы идти речь о самозащите от актуального или непосредственно предстоящего нападения, не было постановления Совета Безопасности в соответствии с главой VI Устава ООН, которое давало бы США соответствующие полномочия. Ни резолюция 1441, ни какая-либо из семнадцати предыдущих (и «отработанных») резолюций по Ираку не могут считаться документами, дающими эти полномочия. Впрочем, фракция сторонников военных действий перформативно подтвердила это обстоятельство тем, что она поначалу все же стремилась получить «вторую» резолюцию, хотя потом и отказалась представить на голосование соответствующий запрос, причем лишь по той причине, что не могла рассчитывать даже на «моральное» большинство членов, не обладающих правом вето.

И наконец, вся процедура оказалась фарсом уже потому, что президент Соединенных Штатов неоднократно выступал с заявлениями о том, что при определенных обстоятельствах он будет действовать и без мандата от Совета Безопасности. В свете доктрины Буша демонстрация военной силы в Персидском заливе с самого начала была отнюдь не только угрозой. Ведь просто об угрозе речь может идти лишь в том случае, если имеется возможность ее предотвращения.

Сравнение с интервенцией в Косово также не помогает. Правда, и в этом случае не было санкции Совета Безопасности. Однако полученная задним числом легитимация могла быть обоснована тремя обстоятельствами: это необходимость воспрепятствовать имевшим место (по тогдашним сведениям) этническим чисткам, относящиеся в данном случае ко всем (*erga omnes*) международно-правовое требование оказания необходимой помощи, а также не подвергающийся сомнению статус всех стран, входящих в действующий здесь военный союз, как демократических и правовых государств. Сегодня же разногласия в отношении норм привели к расколу самого западного

мира. Правда, уже тогда, в апреле 1999, между континентально-европейскими и англосаксонскими державами обозначились весьма примечательные различия в стратегиях оправдания. В то время как одна сторона из катастрофы в Сребренице сделала вывод о том, что с помощью вооруженной интервенции следует сомкнуть ножницы между эффективностью и легитимностью, раскрытые предыдущими попытками вмешательства, чтобы тем самым продвинуться вперед по пути космополитической институционализации права, — другая сторона сосредоточилась на другой цели: распространение в мире собственных либеральных порядков, причем если надо, то и с помощью насилия.

В свое время я уже говорил об этом различии в правовом мышлении: о кантовском космополитизме с одной стороны и либеральном национализме Джона Стюарта Милля — с другой. Однако, как нам в этой же газете 10 апреля хорошо показал Стефан Фрелих, в свете установки на гегемониальный унилатерализм, которой начиная с 1991 года следуют идейные подготовители доктрины Буша, можно, оглядываясь назад, предположить, что американская делегация исходила из этой оригинальной позиции уже на переговорах в Рамбуйе.

Как бы то ни было, решение Джорджа У. Буша обратиться за консультацией в Совет Безопасности отнюдь не было продиктовано желанием получить международно-правовую легитимацию своих действий: эту легитимацию он на самом деле давно уже считал излишней. Такая подстраховка рассматривалась как желательная лишь потому, что она могла бы расширить основу для формирования «коалиции послушных» и рассеять сомнения среди собственного населения. И все же мы не должны рассматривать эту новую доктрину в качестве выражения нормативного цинизма. Акцентирование функции геостратегического обеспечения сохранности сфер влияния и источников ресурсов, которую подобная политика и в самом деле призвана выполнять, может, разумеется, дать пищу для критики ее идеологии. Однако традиционные объяснения такого рода тривиализируют один — еще немислимый полтора года назад — факт: отказ Соединенных Штатов от соблюдения норм, которых они до сих пор все же придерживались. Думаю, мы поступим правильно, если не будем здесь заниматься приписыванием мотивов, а обратим внимание на то, о чем в явной форме говорится в самой доктрине. Иначе мы рискуем недооценить революционный характер этой переориентации, питающейся историческим опытом прошедшего столетия.

Историк Эрик Хобсбаум не без оснований назвал двадцатое столетие «веком Америки». Неоконсерваторы могут считать себя «победителями» и в качестве образца нового мирового порядка рассматривать такие неоспоримые успехи, как новое устройство Европы и южноазиатско-тихоокеанского региона после поражения Германии и Японии, а также преобразование восточных и восточно-среднеевропейских обществ после распада Советского Союза. С точки зрения либералистски истолковываемой постистории а la Фукуяма эта модель имеет то преимущество, что она освобождает от необходимости обстоятельной проработки нормативных целей: разве могло произойти с людьми что-нибудь лучшее, чем всемирное распространение либеральных государств и глобализация свободных рынков? Путь к этому резуль-

тату также достаточно ясен: Германия, Япония и Россия были поставлены на колени в результате войны и гонки вооружений. Сегодня применение военной силы становится соблазнительным еще и потому, что в асимметричных войнах победитель известен априори. При этом считается, что войны, которые ведут к улучшению мира, не нуждаются в дальнейших оправданиях. Их побочным действием является то, что они наносят людям определенный ущерб, которым, впрочем, можно пренебречь, ибо они зато устраняют несомненное зло, которое в противном случае продолжало бы свое существование под эгидой бессильного сообщества государств. С этой точки зрения низвергаемый с постаментов Саддам — аргумент, вполне достаточный для оправдания военного вмешательства.

Доктрина эта была разработана задолго до удара террористов по манхэттенским башням-близнецам. Правда, в результате умелого использования психологии масс в ситуации шока 11 сентября впервые был сформирован тот климат, в котором это учение смогло получить широкий отклик, хотя и будучи представленным в несколько иной, заостренной на «войну против терроризма» версии. Эта заостренность, определяющая собой специфику доктрины Буша, основывается на дефиниции определенного нового феномена в привычных понятиях традиционного ведения войны. В случае режима талибов между неосвязаемо-неуловимым терроризмом и вполне осязаемым и могущим быть объектом военного нападения «государством-преступником» и в самом деле существовала причинная связь. Имея перед собой этот образец, можно пытаться с помощью классической операции межгосударственной войны выбить почву из под ног у той коварной силы, которая раскинула свои сети по всему миру. В отличие от первоначальной версии здесь имеет место сочетание установки на гегемониальный унилатерализм с задачей борьбы с крадущейся угрозой, позволяющее ввести в игру аргумент самозащиты. Однако эта аргументация сталкивается с новыми трудностями. Американскому правительству пришлось убеждать мировую общественность в том, что Саддам Хусейн связан с организацией «Аль Каида». Эта кампания, несмотря на ее дезинформационный характер, в самой Америке была настолько успешной, что по данным последних опросов 60 процентов американцев приветствовали смену режима в Ираке прежде всего потому, что рассматривали это событие как «наказание» за террористический акт 11 сентября.

Однако на самом деле доктрина Буша не содержит достаточных аргументов в пользу превентивного применения военной силы. Поскольку негосударственная сила террористов — «война в мирных условиях» — не подпадает под категорию межгосударственной войны, то необходимость борьбы с этой силой отнюдь не означает необходимости размывать строго определенное международным правом понятие необходимой государственной обороны, объявляя таковой также и предвосхищающие военные действия с целью самозащиты. В борьбе против невидимой глобальной террористической сети, не имеющей единого центра, могут иметь эффект лишь профилактические действия на совершенно ином оперативном уровне. Здесь помогут не бомбы и ракеты, не самолеты и танки, а международное взаимодействие государственных информационных и полицейских служб, установление контроля за финансовыми потоками и вообще выявление всей инфраструк-

туры терроризма. Соответствующие «программы безопасности» относятся к контексту не международного права, а гражданских прав, гарантированных государством.

Прочие опасности, проистекающие из неудач политики нераспространения атомного, биологического и химического оружия (по собственной вине тех, кто ее проводит), тем более подлежат устранению посредством переговоров, а не путем войн за разоружение, — как это показывает сдержанность в отношении Северной Кореи. Таким образом, заостренная на терроризм доктрина отнюдь не помогает в легитимации непосредственно преследуемой цели установления гегемониального мирового порядка. Низвергаемый с постаментов Саддам остается аргументом-символом для нового либерального порядка в целом регионе. Война в Ираке — это звено в цепи политики установления определенного миропорядка, оправдываемой тем, что она якобы вступает на место бесплодной политики защиты прав человека, проводимой мировой организацией, исчерпавшей свои возможности. Соединенные Штаты как бы выступают здесь в роли опекуна, берущего на себя функцию, с которой не справилась ООН. Что же говорит против этого?

Моральные чувства могут вводить в заблуждение, поскольку они цепляются за единичные сцены и образы. Нет такого пути, который позволял бы обойти вопрос об оправдании войны в целом. Решающим пунктом разногласий является вопрос о том, возможно ли — и позволительно ли — заменять контекст международно-правового обоснования контекстом унилатеральной политики установления мирового порядка, проводимой гегемоном, который самовластно забирает себе все соответствующие полномочия.

Эмпирические аргументы против возможности претворения в жизнь американской мечты сводятся к указанию на то, что мировое сообщество стало слишком сложным, чтобы им можно было управлять из одного центра посредством опирающейся на военную силу политики. Страх высоко оснащенной в технологическом отношении сверхдержавы перед терроризмом, похоже, сгущается в страх некоего декартовского субъекта, пытающегося превратить в объект как себя самого, так и окружающий его мир, чтобы поставить все под свой контроль. Если политика деградирует до уровня примитивной гоббсовской формы иерархической системы безопасности, то ее фактически оттесняют на задний план горизонтально переплетающиеся рыночные и коммуникативные отношения. Государство, которое все свои опции определяет глупой альтернативой войны и мира, вскоре натывается на границы своих собственных организационных способностей и ресурсов. Оно также пускает по ложным направлениям общение с конкурирующими силами и чужими культурами, поднимая до заоблачных высот издержки координации.

Даже если бы гегемониальный унилатерализм и был осуществим, он имел бы побочные последствия, нормативно нежелательные даже по его собственным меркам. Чем больше политическая сила уходит в военное, полицейское и секретно-полицейское измерения, тем больше она начинает мешать сама себе, ставя под вопрос свою миссию — исправление мира в соответствии с либеральными представлениями. В самих Соединенных Штатах ориентированный на долговременное существование режим «военного президента» уже сегодня подрывает основы правового государства. Не гово-

ря уже о практикуемых или допускаемых за пределами страны палаческих методах: военный режим не только лишает узников Гуантанамо прав, предусмотренных Женевской конвенцией, но и предоставляет службам безопасности такую свободу действий, которая ограничивает гарантируемые конституцией права собственных граждан.

И не вытекают ли из доктрины Буша требования фактически еще более контрпродуктивных мер в том — вполне возможном — случае, если граждане Сирии, Иордании, Кувейта и т. д. воспользуются демократическими свободами, которыми их хочет одарить американское правительство, не совсем так, как это предполагает Америка? В 1991 году американцы освободили Кувейт, однако они отнюдь не демократизировали его. Но прежде всего присвоенная себе сверхдержавой роль мирового опекуна наталкивается на неприятие со стороны партнеров по союзу, которые по вполне обоснованным соображениям нормативного характера далеко не убеждены в правомерности притязаний США на одностороннее лидерство. В свое время либеральный национализм считал себя вправе в случае необходимости опираться на военную силу для распространения по всему миру универсальных ценностей собственного либерального порядка. Эта уверенность в своей правоте отнюдь не становится более продуктивной от того, что в данном случае она исходит не от национального государства, а от сверхдержавы-гегемона.

Именно универсалистское ядро демократии и прав человека запрещает одностороннее претворение их в действительность огнем и мечом. Универсалистские притязания, которые Запад связывает со своими «фундаментальными политическими ценностями», а значит — и с процедурами демократического самоопределения и вокабулярием прав человека, не должны отождествляться с имперскими притязаниями на то, чтобы формы политической жизни и культуры одной определенной — пусть даже самой старинной — демократии были для всех обществ примером для обязательного подражания. Таким был «универсализм» тех старых империй, которые воспринимали мир, расположенный по ту сторону их расплывающихся на горизонте границ, в центральной перспективе, задаваемой их собственными образами мира. Однако современное самопонимание характеризуется, напротив, универсализмом эгалитарным, побуждающим к децентрализации той или иной частной перспективы; он заставляет субъекта дерелятивизировать свое собственное видение, соотнося его с перспективами других равноправных субъектов.

Как раз американский прагматизм поставил понимание того, что именно хорошо или справедливо для всех сторон, в зависимость от взаимного переживания перспективы. Разумность современного права разума проявляется не в универсальных «ценностях», которые как некое имущество можно было бы принимать во владение, распределять и экспортировать. «Ценности» — в том числе и те, которые могут претендовать на глобальное признание — не парят в воздухе, но приобретают обязательный характер только в нормативных порядках и практиках определенных культурных жизненных форм.

Когда в Насирии тысячи шиитов демонстрируют как против Саддама, так и против американской оккупации, то здесь помимо прочего выражает-

ся и то обстоятельство, что претендующее на универсальность содержание прав человека не-западные культуры могут усваивать только исходя из своих собственных ресурсов и в своей интерпретации, когда это содержание убедительным образом увязывается с их опытом и интересами. Поэтому и в межгосударственных отношениях мультилатеральное формирование политической воли не есть лишь одна опция среди многих возможных. В своей самостоятельно избранной самоизоляции даже руководствующийся доброй волей гегемон, претендующий на роль полномочного представителя общих интересов, не может знать, действительно ли то, что — как он утверждает — он делает в интересах других, в равной степени является благом для всех. Космополитическому развитию международного права, в равной степени прислушивающегося к голосам всех тех, кого оно затрагивает, не существует никакой разумной альтернативы.

Международная организация пострадала пока еще не слишком тяжело. Ее престиж и влияние даже усилились в результате того, что «малые» члены Совета Безопасности ООН не поддались давлению «больших». Ее репутации может повредить лишь она сама: если она попытается посредством компромисса «исцелить» то, что исцелению не подлежит.

Перев. с нем. Андрея Кричевского

© Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17. 04. 2003, № 91 / Seite 33